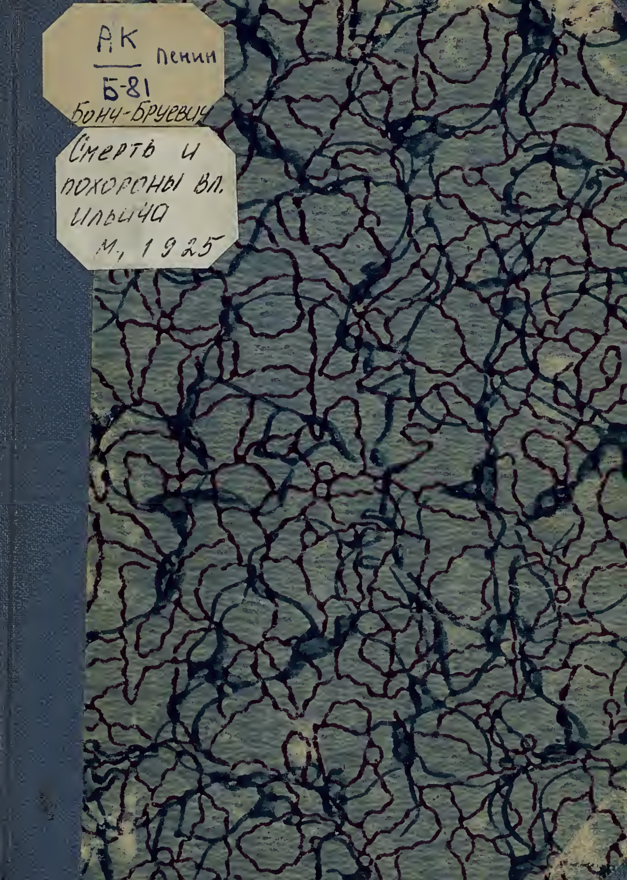

АК
Б-81
Ленин
Бонч-Бруевич
Смерть и
похороны Вл.
Ильича
М., 1925

КООПЕРАТИВНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЖИЗНЬ И ЗНАНИЕ».
Москва, Лубянский пассаж, 53-54 — Тел. 5-04-51.

ВЛАД. БОНЧ-БРУЕВИЧ

СМЕРТЬ И ПОХОРОНЫ ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА

МОСКВА — 1925

КООПЕРАТИВНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЖИЗНЬ И ЗНАНИЕ»
Москва, Лубянский пассаж, пом. 53 54. ▪ ▪ ▪ Тел. 5-04-51.

БИБЛИОТЕКА ДОКУМЕНТОВ, ЗАПИСОК И ВОСПОМИНАНИЙ. Кн. 6.

ВЛАД. БОНЧ-БРУЕВИЧ

СМЕРТЬ И ПОХОРОНЫ ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА

(ПО ЛИЧНЫМ ВОСПОМИНАНИЯМ)

МОСКВА — 1925

Типография М. К. Х. имени
Ф. Я. Лаврова, Бородинский
мост, Варгунихина гора, 8.
Главлит № 33.050, Москва,
1925 г. Напечатано 8.000 экз.



СМЕРТЬ И ПОХОРОНЫ ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА

(По личным воспоминаниям).

I.

Вечером сильно нездоровилось. Пришлось лечь в постель. Тоскливо и тяжело. Опять болезнь. И болен не я один. Больны многие. Стала хворать старая гвардия. Утомились. Издерганы силы, слабеют нервы, надо лечиться, чтобы жить и работать— ведь враг еще у ворот...

Неожиданно резкий звонок кремлевского коммутатора слышу в полузабытьи. Кто-то вошел. Это дочь моя.

— Тебя Лев Борисович зовет к телефону.

Вскочил. Иду.

— В чем дело?

— Приходите к Зиновьеву на квартиру.

— Сейчас?

— Сейчас. Оденьтесь потеплей.

«Что такое?»

Быстро оделся.

Спешу почему-то.

Взошел.

Дзержинский, Сталин, Зиновьев, Каменев, Калинин—спокойны, как всегда сдержанны, почти не говорят, кто сидит, кто ходит. Разговоров не слышно.

Здороваюсь.

— Подите-ка сюда, Владимир Дмитриевич,— отзывает меня Лев Борисович в соседнюю комнату.

Иду. Вскинул глубокие глаза, в упор посмотрел:

— Владимир Ильич скончался...

Что-то хлопнуло по голове, закружилось и застонало в сердце. Горло сжало клещами. Подступает что-то.

«Что это? Слезы?»—пронеслось в сознании.

— Коммунисты не плачут!—отозвалось сердце.

— Да, да коммунисты не плачут. Сюда все силы воли!.. Сюда стальные тиски желаний!.. Сюда вся крепость нервов,закаленных в борьбе!..

— Коммунисты не плачут!..

— Его уже нет... Он умер... умер... умер...

Вошли ко всем.

И все тихо. Говорят еле слышно... Ходят медленно, плавно, осторожно.

Тишина.

Задумались.

— Надо ехать ..

— Надо делать...

— Возьмите на себя организовать поездку. Составьте вопросы о том, что надо делать. Мы там обсудим... Вызовите кого нужно—сказал мне т. Сталин, побледневший, но твердый, неприступный, внешне спокойный.

Я написал ряд предложений. С ними согласились.

— Мы поедем на автосанях,—сказал Л. Б. Каменев, — я, Зиновьев, Сталин, Калинин, а вы все—экстренным поездом.

Я вызвал т. Курского, как Наркома Юстиции

Уехали сани.

Мы двинулись, вместе с Н. А. Семашко и докторами, на вокзал.

II.

На вокзале печальное оживление. Все что-то чувствуют, шепчутся. Легкой походкой в военной форме идет тов. Ф. С. Дзержинский. Ему рапортуют,—как комиссару путей сообщения—железнодорожное начальство; начальник отряда ГПУ—своему шефу.

Поезд в два вагона готов.

В вагоне Анна Ильинишна и Дмитрий Ильич, сестра и брат Владимира Ильича,—убитые горем, подавленные.

Вошли. Народа довольно много. Сели. Молчат. Говорят шепотом. Все встревожены. Недоумевают. Не знают.

— Бухарин звонил... Кричал в телефон... Крайне взволнован...

— Народ еще не знает...

— Прощайте! Я остаюсь в Москве,—сказал Дзержинский. Телефон вам мой известен. Лучше всего по вертушке...

И он вышел.

Тотчас же раздался свисток. Загудел, заскрипел паровоз и мы тронулись...

Морозно... Крепчает... Окна заиндевели... Луна окружена таинственным радужным кругом...

Все тихо...

Редко кто проронит слово.

Врачи устраивают первое совещание. Н. А. Семашко ставит вопросы о вскрытии, бальзамировании, замораживании. Тут же ищут ответы и записывают их.

Вскрытие. Бальзамирование. Замораживание...

Да ведь он умер! Умер! Умер!

Вот тише и тише...

Остановились. Станция... Выходим. Лошади готовы. Кучера, выехавшие на встречу—молчат. Все знают зачем приехали—но ни слова. Не едим, а летим. Белым саваном объятые деревни спят глубоким сном.

Они еще не знают, что того, кто жизнь свою готов был всегда отдать за благо их и счастье... его уже нет, он мертв.

Они еще не знают, что то сердце, которое страстно билось за счастье, за долю, за радость всех угнетенных—остановилось, захолонуло и более уже не откликнется ни на их стоны, ни на их радостные клики, ни на их призывы к борьбе.

Его уже нет. Он мертв.

Они еще не знают, что заутро завтра, как только проснутся люди для нового труда, разнесется повсюду от края и до края всего мира, печальная, разрывающая душу весть о кончине международного вождя рабочих, борца, за угнетенных всего мира. Всюду и везде, все народы, на всех языках, вознесут ему хвалу и славу, и слезы, и честь, и рыдания...

Его уже нет. Он мертв.

И мы, живые, мчимся туда, к нему, скорей, скорей!.. Полями, еще и еще поворот, прекрасной аллеей, полной чарующей зимней прелести, на горку и .. к дому, к парадному подъезду. Что это? Черно-красная перевязь уже увила колонаду старинного дома, мешаясь с зеленью хвои чьей-то заботливой рукой уже разбросанной, поставленной, увитой, здесь, кругом и всю-

ду. Так осиротевшие хотят хоть чем-нибудь выразить свою тоску по отошедшему... Везде толпятся люди, безцельно ходят, бродят, жмутся друг к другу и не хотят уйти, не хотят оставаться одни...

Автосани еще не приехали...

Мы разделись внизу в передней и медленно, робко и боязно, стали подниматься наверх... Вот она лестница, по которой любил передвигаться Владимир Ильич во время своей болезни... Вот они вторые перильца подстроенные под обыкновенными, дабы его парализованная рука плохо поднимавшаяся кверху, могла бы придерживаться за них... Мы идем, не торопясь, со ступеньки на ступеньку, все ближе и ближе туда, к нему, где только что он жил, где его уже нет в живых, где он уже мертв...

Входим в полусветлую комнату, озаренную огнями из прилегающих окон и дверей и прямо встречаем Надежду Константиновну... Она спокойна, немного больше чем обыкновенно подвижна, она не плачет,—коммунисты не плачут! —но вся воплощенная скорбь... Невольно, от сердца к сердцу, рвется стремление выразить всю глубину бездонного горя... Какими словами, чем можно сказать ей хоть что-нибудь?.. И мы молча припадаем к ее рукам, как к любящим рукам матери... И она,—суровая и строгая,— не отталкивает нас. Она знает, она чувствует своим широким любвеобильным сердцем, своей чуткой и родной нам душой, что ее горе,—безмерное и несравнимое,—наше горе, горе наших сердец, вопль наших испепеленных душ...

Молчание... Тишина... Слов нет, их нет и нет...

— Не верьте, что он умер... Он жив... Он

дышет...—чуть слышно, еле внятно шепчет Надежда Константиновна, еще не решающаяся расстаться с тем с кем жила, боролась и страдала целую, долгую, светлую жизнь...

О, как тяжко сказать:—«нет, он умер, его уже нет... Он мертв...» Но сказать надо, сейчас же, немедленно...

— Пойдемте туда...

И мы пошли...

Большая комната, посредине стол, утопающий в цветах и зелени, зеркала завешаны, холодно—открыт балкон... Горят электрические люстры и посреди стола, чистенько одетый... Владимир Ильич... Спокойно, тихо озарено полуулыбкой его прекрасное лицо... Немного похудевший, без признака страдания, он тихо заснул, на веки смежив свои вежды... Правая рука крепко стиснута; маленький кровоподтек на правом ухе серым пятнышком приковывает к себе наш взор...

— Смотрите, у него как будто бы открываются глаза... Немного дрожит щека...

Хочется верить, что это так, тогда бы здесь не витала смерть... Но это не так... Движений никаких нет... Он мертв и мертв навсегда и ничто более не возмутит его задумчивое чело...

Постояли, посмотрели, пошли...

III.

По лестнице, не спеша и словно замедляя шаги, поднимались вожди старой гвардии большевиков, только что прибывшие на автосанях...

Душевная, тихая, без слов, встреча с Надеждой Константиновной...

И дальше туда, в ту зачарованную комнату,

где нет ни слез, ни рыданий, а только лишь жуткий покой...

Вот впереди всех Сталин. Он не идет, как все. Походка его принадлежит ему одному... Подавая то левым, то правым плечом вперед, круто поворачивая при каждом шаге корпус тела, он идет грузно, тяжело, решительно, держа правую руку за бортом своей полувоенной куртки... Лицо его бледно, сурово, сосредоточенно... Вот Каменев, ласково-тихий, внешне немного взволнованный, идущий спокойно, размеренно туда, куда итти неизбежно, но поэтически встревоженное лицо его дает понять каждому, сколь тяжки, сколь скорбны часы переживаемого им...

Вот Зиновьев, проведший с Владимиром Ильичем может-быть больше чем кто либо годов совместной жизни, переживший с ним близко и интимно много-много тяжелых времен в годины тяжких испытаний всей нашей большевистской сущности... Он печален, задумчив и грустен. Приветлив и нежен с Надеждой Константиновной и как-то интимно близко, просто и сердечно подошел он к тому, с кем долгие годы привык делить и горе поражений, и радость, и счастье всепотрясающих побед. Пришел Калинин, взошли все остальные приехавшие. Почти вбежал глубоко потрясенный, взволнованный, раскрасневшийся и не могущий себя успокоить, полубольной, с раскрытой грудью Бухарин, совершенно забывший о себе, о своей болезни... Все стали здесь, вокруг... Взглянули в спокойное лицо того, кто был всегда дорог им, глубоко близок и все, словно руководимые единым внутренним голосом, поникли головой... Все за-

мерло. И тихо, тихо было здесь, где так недавно кипела жизнь, полная огня и страсти...

А там в отдалении из-за густоты зелени цветов, через стекло виднелся образ, залитый серебром густых волос, той, которая так изумительно нежно, так чутко и осторожно любила своего брата. Там, полная тоски и неуёмного горя, без звука и движений, точно завороженная, смотря в лицо Владимира Ильича, как бы мысленно разговаривая с ним, стояла Мария Ильинишна... Сердце сжималось, смотря на нее и никто не решился нарушить ее столь глубокотрагический покой.

Долго, долго, стояли они,—закаленные бойцы и испытанные ветераны нашей великой революции, и казалось, что здесь ковалась клятва, клятва, на веки, клятва в верности и безпредельной преданности ему—другу, ему—бойцу, ему—вождю народов всего мира, пролетарской революции всех народов.

— Да, да, вот оно что... Вот оно что... — первый проронил слова Сталин... И стал обходить Владимира Ильича своим размеренным шагом, все также поворачивая то левое, то правое плечо, словно не веря, что смерть совершила свою неумолимую работу и как-бы желая убедиться, что эта роковая работа непоправима, неизменна...

За Сталиным пошли и другие и так прошли все, безмолвно, понуро, тихо...

Прошли и вышли.

IV.

Пришлось приняться за дело... Образовали врачебную комиссию по описанию смерти,

вскрытия и составления акта болезни.

Надо было думать, как хоронить, где хоронить, как все организовать, где поставить тело для последнего прощания народа... Скрепя сердце соединились, сели за стол, и записали все, что нужно было делать и кому делать...

В соседней комнате сиротливо ходит, частенько заглядывая туда, где был теперь Владимир Ильич, бледный и немного растерянный и видимо свой в этом доме человек. К нему нередко подходила женщина. Это были фельдшер и сестра милосердия, долгое время ухаживавшие за Владимиром Ильичем, находившиеся все время в непосредственной с ним близости. Им было очень тяжело. Он умер на их руках. Они действительные свидетели его последних минут, когда смерть пришла так быстро, почти мгновенно...

Они потрясены и задушевными, мучительными словами передают ближайшим друзьям, как это было и что было...

Время клонилось к полночи...

Надо ехать в Москву.

Вновь потянулись туда к нему... Вновь окружили его тесным кольцом и нет сил оторваться, уйти...

Порывисто, страстно вдруг подошел Сталин к изголовью.

— Прощай, прощай, Владимир Ильич... Прощай!—И он, бледный, схватил обоими руками голову Владимира Ильича, приподнял, нагнул, почти прижал к своей груди, к самому сердцу и крепко, крепко поцеловал его и в щеки и в лоб своим огненным вековечным поцелуем...

Махнул рукой и отошел резко, словно отрубил прошлое от настоящего...

Мертвые в мире почили
Дело настало живым...

Подошел Каменев, задумался и нежно почти прильнул к груди и лицу Владимира Ильича...

Зиновьев трогательно простился с своим другом...

— Прощай Ильич,—громко прощался и целовал его Бухарин.

Пошли остальные... И каждый по своему, от избытка чувств, кто робко, кто застенчиво, кто порывисто и страстно отдали свой последний долг тому, с кем провели в дружбе, в борьбе и работе долгие годы своей жизни...

Кое кто остался ночевать... Большинство поехали на станцию....

V.

В засыпанной глубоким снегом равнине елееле виднелись приземистые маленькие домики— крестьяские хаты... Все спало глубоким сном, окутанное морозной дымкой лунной январской ночи...

— Вот она Россия...—промолвил Каменев, смотря вдаль полей...— Здесь бы почаще бывать... К их бы жизни приблизиться...

Тот-же экстренный поезд медленно подходил к полустанку...

Мы сели и двинулись в обратный путь... Было решено тотчас-же собрать Президиум ЦИК СССР.

В Москве еще почти никто не знал о смерти Владимира Ильича.

Около двух часов ночи состоялось заседание Президиума ЦИК СССР, где была образована „Комиссия по организации похорон Председателя Совнаркома Союза ССР и РСФСР В. И. Ульянова (Ленина)“.

И тотчас было приступлено к работе по организации похорон великого мятежника всего мира.

К утру о смерти Владимира Ильича узнала не только вся Москва, но и весь мир.

Рабочие дали тревожные гудки на заводах. Быстро организовались громаднейшие митинги. Работы приостановились. Потрясенный боевой пролетариат Красной Москвы, каждый на свой лад, на всех фабриках и заводах, выдвинул способы траура, всеобщей печали, о более чем близком вожде и друге своем Владимире Ильиче.

Все улицы Москвы быстро стали заполняться народом. Все искали услышать новое об великом горе. Всюду организовывались собрания, митинги, гражданские панихиды и в этот поток народного горя захватывались все более и более огромные массы населения.

Газеты, листовки, прокламации хватались нарасхват...

Разнеслась весть, что тело Владимира Ильича будет перевезено в Москву и выставлено для прощания с ним народа в большом зале „Дома Союзов“.

К Повелецкому вокзалу потянулись многочисленные делегации, желавшие принести к одру смерти Владимира Ильича и свои сожаления, и свои чувства.

Молодежь,—та молодежь, которая в некоторой своей части только что была увлечена

дискуссией, поддерживая оппозицию Троцкого — отнеслась трогательно чутко к смерти Владимира Ильича. Они собирались кружками, и, как осиротелые, жались друг к другу, вверяя тревогу своих сердец и боль молодых, впечатлительных, чутких душ этим повсюду возникавшим коллективам... Многих из них не тянуло на улицы. Они в честь, в память и в славу своего великого учителя,—тотчас же засаживались за чтение и изучение писаний Владимира Ильича, читая вслух его произведения, наполняя свои вдруг опустошенные души великим содержанием произведений гениального мыслителя, ученого, политика и борца всесветной революции.

Все дальше и больше раскачивалась и поднималась волна народного горя, вызывая прекрасные проявления под'ема коллективного творчества. Все спешило в центр, и всюду и везде, в толпах беспартийных рабочих, слышались искренние, полные глубокого чувства призывы, действительный крик сердца: к нему! Скорей! В партию! Укрепим и подымем ее! У нас нет более Ильича! Так все мы вместо него! Он один—мы десятками тысяч заменим его одного!.. К нему! К нему! В партию!

И с первого дня кончины Владимира Ильича осиротевший пролетариат всего нашего великого Союза стал сам, опережая всякие желания, призывы и директивы, итти массой в ячейки и комитеты Коммунистической Партии, ища возможности вступить в ее ряды. Образовалось огромное, все наростающее, движение рабочих масс, вождем которых и теперь, после своей физической смерти, был Владимир Ильич. Он,

покидая мир, своим телом, своей смертью, объединил рабочих и сковывал еще теснее, еще мощней ряды Партии, увеличивая ее кадры успешней и скорей, чем тысячи агитаторов и пропагандистов, выступающих всюду. Смертью своей он сразу остановил разъедавшую ряды Партии волну дискуссии, направляя все живые силы пролетариата в единое и нераздельное русло, русло строго дисциплинированной, надежной и слитной нашей пролетарской Коммунистической Партии. То, что так успешно делал он при своей бурной жизни, то сделал он, сильно и могуче, самым фактом своей смерти.

VI.

В Доме Союзов кипела работа. Сосредоточенно, угрюмо взялись рабочие за выполнение своего последнего долга перед тем, кто всю жизнь был с ними, жил и боролся для них и за них. Черным флером увили люстры и сотни лампочек светили тусклей, печальней, мерцая тихо, светя тоской. Белые колонны увились красными и черными широкими лентами. С высоты огромного зала ниспадали знамена союзов. Словно огненные языки сверкали в разных местах узкие полотнища с грозными призывами и лозунгами, будя живых, заклиная неуверенных, сопровождая в дальний, последний путь отошедших коммунаров. Все сосредоточенно спешили, желая воздать ему все, что достижимо человеческому творчеству, любви и беззаветной преданности...

— Завтра прибывает тело.

— Сегодня отправляем гроб.

Под‘ехали сани—автосани,—которые так лю-

бил Владимир Ильич. Ими управляет все тот же неизменный шоффер Владимира Ильича тов. Гиль. Он осторожно и зорко возил его при жизни, он защитил его своим телом, когда безумные эсэры хотели убить любимца и вождя народных масс. Он и теперь тут на своем посту и желает и рвется до могилы быть верным Владимиру Ильичу.

— Гроб повезу я ..— решительно и просто сказал он мне.

— Конечно, друг, конечно, вы...

Сани под‘ехали к коммунальному похоронному бюро. А там внутри, торопясь и спеша, мастерили цинковый гроб, точь в точь по мерке, снятой лично мной вчера там в Горках...

«Если выпало мне несравненное счастье служить тебе и быть полезным при жизни, позволь, дорогой, потрудиться для тебя и тогда, когда вот ты на смертном одре»...

И не торопясь, проверив несколько раз, я снял с Владимира Ильича его размеры, дабы приготовить ему домовину теперь, увы! не для жизни, а на смерть, на долгие, долгие годы...

VII.

— Извольте посмотреть сами, все в порядке, в наилучшем виде...— торопливо, скороговоркой говорил мне гробовщик, радостно захлебываясь от удачной работы для такого редкого покойника.

— Вот и подушечка!.. Не извольте беспокоиться... Лежать будет удобно, мягко...

«Лежать будет удобно, мягко...» — подумал я, повторяя слова гробовщика. «Ждали ли мы, что так скоро, в самый разгар строитель-

ства нашей страны,— уйдет он от нас, уйдет навсегда, навеки...»

— Длина оче-е-ень хороша... Как видете все прилично... Везде все красное, в каемочку... в ленточку... И сверху чехол красный... Окошечко есть, чтобы посмотреть... Очень даже хорошо...— продолжал нахваливать гробовщик, журча, словно ручеек, своим переливным голосом...

— Смотрите-с, стенки!..— Атласа не пожалели...—и он умиленно, молитвенно складывал руки, зорко смотря за мастером, прибивавшим последнюю массивную золотую кисть и словно готовый на радостях сам лечь в этот маленький гробик, столь уютно сделанный им для великого покойника.

У саней и вокруг похоронного бюро столпилась огромная толпа народа и здесь судам и пересудам не было конца. Дежурный милицейский начальник тотчас же вызвал усиленные наряды из ближайшего милицейского управления. Почти бегом, мигом, показался наряд милицейских, быстро рассеявшийся среди толпы и удивительно ловко и умело раз'яснил все собравшимся. И эти толпы сухаревского обывателя, всегда нервного и безпокойного, стали внимательно ожидать погрузки гроба.

VIII.

— Пустите меня, пожалуйста, пустите ехать вместе с гробом, — обратился ко мне чуть слышно один из деятелей комсомола Л. Авербах,— мне надо быть около него, хоть минутку...

И видя, что я понимаю его, он быстро,

без слов, влез в автосани и притаился в дальнем, полутемном углу...

— Я не могу оставаться здесь, я прошу позволить мне уехать к нему...— сказал мне тихо-тихо давнишний друг и соратник Владимира Ильича — Иван Иванович Радченко, и сгорбившись, понуро он прошел к саням и кое-как втиснулся туда за гроб, с трудом вместившийся в об‘емистые автосани, на которых так любил ездить когда-то Владимир Ильич.

И еще и еще подходили ко мне знакомые и незнакомые товарищи и все просились ехать туда, к нему...

Сани полны... Пора ехать...

Толпа, поняв, что здесь творится нечто особенное, перестала галдеть, и робко приближаясь, стала расспрашивать, кому этот гроб. Скрывать было нечего и мы об‘яснили собравшимся, кто был тот, для кого повезли эту последнюю обитель человека...

IX.

... Город гудел... Улицы запружены народом...Москва убирается черно-красным трауром...

В Доме Союзов кипит печальная работа...

— Надо об‘ехать город, проследить путь завтрашней процессии с телом Владимира Ильича,— тихо сказал тов. Дзержинский и бледное, усталое лицо его озарилось чуть заметным румянцем...— так проявил свое волнение этот изумительно стойкий, всегда владеющий собой, закаленный боец революции...

Мы поехали и подробно изучили последнюю тропу, по которой завтра, почти в это время, будут нести на крепких и верных руках всё,

что осталось тленного от вечного Владимира Ильича...

Так прошел день, прошли целые сутки, первые сутки без него, без живого Владимира Ильича...

И в мире стало сиротливей...

Вот и вторая ночь. Надо копать могилу, готовить последнее место упокоения...

— Могилу готовьте вы... — сказал мне Л. Б. Каменев еще вчера, возвращаясь в Москву.

— Могилу поручить ему...— сказали товарищи в Доме Союзов.

И я поехал с товарищем Сафроновым, которому тоже поручили это дело.

Тут, пред стеной, где немного дальше покоится тело Як. Мих. Свердлова, которого так любил Владимир Ильич, тут, где вон там — направо и налево — тянутся длинной полосой могилы коммунаров, погибших при защите баррикад восставшего народа, погибших в огне борьбы за социалистическую революцию, — тут посреди них, — должна быть его могила, место вечного успокоения величайшего мятежника мира, место всесветного воспоминания всех трудящихся и порабощенных.

Немного впереди, но среди них, тут, возле той башни, где всегда поднималась трибуна, с которой произносил он свои огненные речи к народу, простотой и убежденностью будивших и поднимавших всех на самый жестокий бой с надменным и сильным всесветным врагом. Вот тут, вот здесь, где видели мы его так часто и оживленным, и смеющимся, и потрясавшим сердца народные; вот тут, вот здесь,

где проходили сотни тысяч рабочих, крестьян, красноармейцев и молодежи, радостными кликами встречавшими его—своего любимейшего вождя, товарища и друга; вот тут, вот здесь пусть будет его могила, его последнее место покоя...

В темноте морозной ночи засветились факельные огни. С разных сторон поднялись люди. Еще и еще идут и едут. Развели огромные костры и красное пламя, мешаясь с сизым и черным дымом, озарило сумрак, окинуло языками Кремлевскую стену, исполосовав небо причудливыми тенями...

Ходят в тулупах. Укутаны в башлыки, одеты в полушубки, в валенки, в огромные рукавицы, ходят и постукивают ломами об оттаявшую землю.

— Крепка земля... Лом тупится...

— Да, крепка, что и говорить... Мороз-то больно лют...

— Крепчает, дерет...

И вспыхивают костры, подымая огни от земли и до неба.

Стучат кирки, звенят ломы, скребут лопаты... Не поддается земля... Крепка и камениста. . Подвалили еще дров, саженями измерили костры; горят, трещат, валит дым, рассыпаются искры... Как тени ада бродят люди... Упруга и тверда земля... Нет сил добраться вглубь...

На утро так же мало, как и ночью, прошли вперед работы...

— Что делать?

— В землю итти не хочет Владимир Ильич,— говорят рабочие.

Вот сотни возов подвезли лес, бревна, до-

ски: застучали сотни рук. Рубят, строгают, пилят, готовят в черне мавзолей...

— Взорвать землю?!.—мелькнуло в голове...

— Скорей, сюда Сухаревского с командой, Коростошевского с его штабом, всех у кого саперы, подрывники...

— Нельзя, что вы?.. Хотите повредить стену?.. Фигуру рабочего?.. Скульптуру?

— Отнюдь нет... Взорвать землю и ничего не повредить...

И закипела работа... Кайлами долбят гранит давнишних зданий... Фундаменты литого кирпича, столетия тому назад введенные в землю, пронизывают буравчатыми скважинами... Тянутся бикфордовы шнуры... Команда: берегись!.. Спешат, бегут, торопятся из ям выскакивая люди, и припадают к земле. Глухо, потом все шибче и шибче ухают взрывы. И тьма, и пыль кружатся над могилой. Земля и камни взлетают в высь... Огромные толпы народа шарахаются в стороны, дивясь и недоумевая на то, что делают там эти отважные, отчаянные люди...

Тут же на площади ночью прожекторы артиллеристов хлопотливо, трепетно и настойчиво полосуют небо, освещая феерическую картину этой небывалой работы... Кому сооружали так могилу? В самое пекло, пользуясь светом прожекторов, бегут и бегут фотографы-кино, снимают и ловят каждый момент, чтобы потом показать всему миру картину в десять тысяч метров, картину похорон Владимира Ильича.

— Морозит все больше и больше...

— Трудно рыть ему могилу...

— Ильич не хочет итти в землю...

X.

С раннего утра шпалерами войск затягиваются улицы, а там за ними в переулках, на крышах, в садах, у окон, везде и всюду группы и толпы народа. Город уже узнал о смерти Владимира Ильича, город ждет великого покойника... У заводов и фабрик, всюду чем ближе к площади Свердлова, чем ближе к дому Союзов, народа все больше и больше... Мороз крепчает, дымятся костры... Закутанные люди, заиндивевшие лица...

У вокзала войска, депутации, рабочие... Все рвутся вперед, нередко нарушая строгий порядок, здесь установленный...

Стрелка часов все ближе и ближе к роковому часу, когда впервые красная Москва, сердце России, примет своего вождя, примет того, кто кровь свою пролил здесь среди рабочих от гнусной руки эсерки, примет не у себя на Красной площади, живого, радостного, среди трепещущей и жаждущей его слова толпы, а там на вокзале, в траурном вагоне, среди безмолвно поникших друзей...

Мороз крепчал, жег и щипал лица, леденели руки и ноги, но несмотря ни на что, народ валил, депутации все больше и больше запружали вокзал, перрон и площадку...

Почетный караул, оркестры, правительство заняли свои места и в напряжении все затихло...

Вот из-за поворота показался дымок, вот змейкой вынырнул поезд, вот уже слышно его тяжкое дыхание, вот застучали колеса, поднялся красный флажек дежурного по станции и поезд мерно, плавно и тихо подошел к платформе.

Паровоз укутан чернокрасным трауром. Совершенно белый, занесенный инеем и снегом кинематографист, ехавший на передней площадке паровоза и снимавший все встречное,—метнулся туда-сюда и еле сполз с своего поста, замешавшись в толпе... Траурный марш прекрасного оркестра залил торжественно-печальными звуками окрестность... Из вагонов повалили члены ВЦИК, ЦК РКП (б), правительства и другие, смешавшись с теми, кто встречал поезд. Вот он вагон, обитый черным, увитый гирляндами зелени. Показались сопровождавшие вагон; за ними двинулись знамена и знамя ЦК нашей Партии, обвитое флером, прежде всего...

Несмотря на мороз, все обнажили головы...

Вот он и гроб... Медленно-медленно движется он, передаваемый с рук на руки и, наконец, остановился... Его приняла старая гвардия коммунистов на свои плечи, на свои руки...

Двинулись...

Почти без разговоров, медленным шагом идут те, вот здесь, сейчас же за гробом, кто долгие-долгие годы работал и боролся непосредственно под его руководством, под его водительством...

И вот его уже нет...

Не раз безжалостная смерть вырывала из наших рядов любимых товарищей, безпримерных бойцов, мужественных, бесстрашных революционеров, закаленных в десятилетних боях на самых передовых позициях революции, но отчего же, отчего так щемит сердце сейчас, вот здесь, за этим гробом, как никогда ранее?! . Отчего же, отчего не находишь слов, не находишь мысли обнять все случившееся и печаль,

и грусть, и тоска не дают покоя, мутят сознание...

И так и хочется крикнуть всем, крикнуть от всего сердца, крикнуть всей земле нашей:

Плачь, русская земля. Но и гордись:
С тех пор, как ты стоишь под небесами,
Такого сына не рождала ты
И в недра не брала свои обратно...

XI.

Очередями, как всегда у коммунаров, строго организованно, сменяют друзья, товарищи, члены С'езда ВЦИК—отряды тех, кто хочет на своих руках нести и нести эту неоцененную ношу...

Вот М. И. Калинин по крестьянски впрегся спереди в гроб, держа его на вытянутых руках и идет и идет... и нет ему смены, не хочет...

Подходят, просят сменить...

— Михайла Иванович,дозволь сменить...—говорит громадного роста крестьянин, прибывший на С'езд оттуда, из глубины России...

— Нет, нет, дорогой мой,.ничего... Понесу еще...

— Михайла Иванович, приутомился ты, смотри на морозе вспотел...

— Ничего, ничего, друг, понесу еще. Знаешь, друг, своя ноша не тяжела...

Да, да «своя ноша»—это верно «своя ноша», наша ноша, ноша всенародная, но как ужасно думать, что теперь это только ноша...

Все с трудом отрываются от поручней, на которых несут гроб... Все хотят пронесть его побольше, подальше...

Живой, громадной лентой, вьющейся далеко-

далеко, идут ряды коммунаров, рабочих и граждан Москвы, пришедших отдать последний свой долг. На нынешний день—в день перенесения гроба— демонстрации нет, но демонстрация есть: рабочие не хотят ни на минуту оставлять своего усопшего вождя. Всюду и везде они вокруг него, они бережно сторожат покой отошедшего...

— Да, народа, и все больше крестьян, подвалило в Горках очень много...—рассказывал один из приехавших с поездом.—И откуда они?.. Казалось и народа то нет в этой местности, деревушки маленькие, а тут едут и едут, засыпанные снегом, в тулупах. Придет, отряхнется, прочистит бороду от снега и ледяных сосулек и тихо, не спеша, поднимается к «упокойнику».

— Откуда ты, дедушка?

— Да тутотка, не далече, верст тридцать будет...

— Откуда же ты узнал-то?

— По слухам, светик, по слухам,—отвечает приехавшая с ним хозяйка, уже сморщенная, уже согбенная годами жизни, трудом и нуждой.

— К кому же ты приехал?—расспрашивают его.

— Мы-то?

— Вы-то?

— Упокойника посмотреть, поклониться ему... Ведь он наш, Ильич-то, за хрестьянство страдал, ну вот и кончина его праведная, легкая... без муки... Сел, говорят, дайте, говорит, испить... тут в одночасье и кончился...

— Праведники так умирают, только они одни... За нас, за хрестьян, старался он... Наш он...

И пошли, потянулись, не спеша... Идут и идут... Вошли туда, где он... Кто помолился, кто так... Остановились, задумались... Кто-то всхлипнул... Постояли... Низко поклонились, кто в пояс, кто в ноги... Опять постояли... Продвинулись... Зашли с другой стороны .. Поближе к лицу, к рукам... Внимательно, зорко смотрят, точно навеки хотят запомнить... Вздыхают... Слов нет... Зачем они?

Опять стали в ногах, у выхода... Отдали низкий, низкий поклон, стараясь рукой достать до пола... Покрутили головами, помяли шапки и вышли тихо, спокойно, важно, как истинные хозяева земли.

— Отслужил народу... Кого взамен-то оставил?.. Приказал-ли что?.. Д-е-л-а!.. Теперь надо крепиться, всем за одно,миром, значит,брать... Нет его, Ильича-то—нет, слышь-ты...

Поговорили, «посумлевались», еще раз поклонились дому, не торопясь отвязали торбы у лошадей, не торопясь сели, укутались, не торопясь поехали со двора, унося с собой печальную думу, разнося всюду «по слухам» жестокую, скорбную весть о кончине Владимира Ильича...

А народ все идет и идет... Под'езжают горожане, депутации, рабочие и все вместе, не спеша, без шума, без слов идут туда, где покоится он...

И когда понесли гроб, когда Владимир Ильич—увы, уже мертвый, последний раз покидал свои любимые Горки, тысячи людей, собравшись отовсюду, живой, казалось, безконечной лентой, шли и шли за ним, лежащим в гробу...

XII.

Принесли...

Вот он Дом Союзов...

Двери настежь...

Рабочие на площади, рабочие у дверей, рабочие в вестибюле, рабочие на лестнице, рабочие в зале и среди них такие же рабочие, лишь одетые в красноармейские мундиры, полные энергии, прекрасной военной выправки, строгие и сосредоточенные, всегда стоящие на страже революции...

На руках рабочих, к ним, к рабочим, в их дом, в дом Союзов всех рабочих, принесли его, вождя рабочих; здесь совершает он последнюю остановку последнего пути...

Плавно, печально и трогательно понеслось пение серебряных труб прекрасного военного оркестра, зазвучало оно и переливно отдалось повсюду, словно пело и плакало, плакало и рыдало все кругом, вокруг и всюду...

Внесли и поставили на высокий помост весь в красном, окружили цветами и зеленью... Тяжелое, расшитое золотом, все в трауре, красное знамя Центрального Комитета Российской Коммунистической Партии (большевиков), ниспадая вокруг гроба, облекло и обвило его ноги, как мать укрывает дитя... Знамя Центрального Комитета Всероссийской организации Профессиональных Союзов тут-же прильнуло к нему—вождю, товарищу и другу... Испытанные бойцы революции, соратники, советники и исполнители его твердой, стальной воли—воли бессменного руководителя Ц. К. Партии и Совета Народных Комиссаров, его друзья и то-

варищи, толпятся здесь у этого последнего приюта последних дней, последнего пути жизни...

А там идут и идут—желают поклониться его телу, его праху, телесному воспоминанию непреклонной воли, высокого разума, духовной красоты и революционной чести того, кто всю жизнь свою, всю без остатка, отдал единой цели, единой борьбе, единому классу, единой диктатуре—диктатуре пролетариата.

Пришедшие отошли, опять за работу, опять к массам, опять и опять по его пути, по его стопам, по его заветам... А там не ждут: все идут, идут и идут... Без перерыва, потоком, всепоглощающей лавиной, безостановочно, быстрым шагом, не останавливаясь, чуть-чуть задерживаясь у гроба, чтобы хоть на минутку заглянуть, запечатлеть навеки уже холодные уста, уже закрытые очи, очи горного орла Революции.

С трепетом входили люди, детей несли на плечах, женщины поддерживали друг друга и не было и не предвиделось конца этой бесконечной ленты безпрерывно движущихся людей... Плач и рыдания нередко наполняли залу и женщины и мужчины, красноармейцы, работницы и рабочие с воплями и криками падали на пол и их уносили в наскоро открытые здесь же больничные палаты и таких было много, их были сотни... Замерзшие, заиндевевшие, холодные и голодные,—стояли на улице безбрежные толпы, соблюдавшие строгую очередь, сотен тысяч людей, окаймляя Дом Союзов со всех сторон на многие, и многие кварталы... Кого тут только не было? И рабочие—огромное большинство рабочих,—и красноармейцы, и крестья-

не, и учащиеся, и дети, и советские служащие, и граждане и даже непманы, все шли и шли, тянуло их, что-то влекло их сюда и днем, и вечером, и всю ночь и ранним утром...

Мороз крепчал все более и более, мороз стал лютым. Повсюду пылали огромные костры, застилая улицы и дома клубами розоватого дыма; яркое пламя вздымалось от земли и до неба, разукрашивая бесчисленными блесками заиндевевших людей...

XIII.

Таинственно и жутко ползли ночи, черным сумраком обнимая бодрствовавшую Москву, словно сражаясь—чья возьмет?—с сторожевыми огнями революции, пылавшими повсюду вокруг того места, где успокоился Владимир Ильич под неусыпным дозором почетного караула... Рабочие фабрик и заводов, шахт и рудников, железных дорог и речного транспорта со всех концов России, от всех производств, от всех городов и местечек, со всех концов необ‘ятного Социалистического Союза нашего двинули излюбленных людей своих, лучших товарищей, двинули депутациями с венками, украшенными символическими изображениями, глубоко сердечными надписями, изделиями рук своих и своего производства, желая хоть чем-нибудь возвеличить эти минуты, отдать хвалу и честь, признание и печаль ему, другу всех угнетенных, отдать все, что только у них есть и может быть, все без остатка...

Венки, венки и венки... Без счета и числа, венки отовсюду со всех концов земли, несут, несут и несут...

Смотрите, вот уральцы, представители настоящего боевого пролетариата,—им некогда было ожидать, некогда было думать.—Последний поезд на Москву отходил менее чем через два часа после получения печальной вести... Они едва могли собраться в мастерских, дабы вырешить кому, когда и как можно ехать.

В рабочих блузах, не успев переодеться, в чем были и как были, почти бегом ринулись они к вокзалу, на поезд и успели приехать во время, когда еще Владимир Ильич покоился в Доме Союзов. Прямо с вокзала направились они в Дом Союзов и тут, принятые, как близкие друзья, рабочими Москвы, сейчас же стали в почетный караул у гроба того, кого ценили они, кого любили они превыше всего...

Смена за сменой по пять минут, наконец, по три минуты, по восемь человек, нередко по шестнадцать и по двадцать четыре, стояли день и ночь безпрерывно те, кто послан был сюда со всех концов республики для отдачи последнего долга вождю, бойцу и другу. И пионеры, и комсомольцы, и члены РКП (б), и члены Правительства, и депутации заводов и фабрик, и члены центра Профсоюзов, и представители всех народов, всего мира, весь Коминтерн, и крестьяне, и инженеры, и шахтеры, и транспортники, и шофферы, и учителя, и все и все, кто только был организован, и отдельные лица, друзья и товарищи, долгие годы жизни делившие с ним и радость и горе. Вряд-ли видало человечество этот изумительный смотр народов, профессий, революционных бойцов и политических деятелей у гроба того, кто по-

тряс весь мир, кто поставил человечество на новую стезю жизни...

А здесь кругом, везде и всюду, рабочие, рабочие и рабочие...

Вот она, жена Джапаридзе, вся в черном с красным цветком на груди—символом вековечной борьбы,—вот она гордая, смелая, носящая печаль и траур, не только по Владимиру Ильичу, но и по мужу своему, расстрелянному англичанами в песках Закаспийской области, расстрелянному с другими двадцатью двумя товарищами за то и потому, что они дерзнули исполнить волю революционных народов Закавказья и стать во главе восставших. Расстрелянными за то и потому, что рискнули быть избранным народами Закавказья Правительством и делать то, что повелевает честь и достоинство человека, честь и достоинство революционера, честь и достоинство коммунаров, взяв на себя права и обязанности свободной революционной власти свободных, революционных, восставших народов востока, столетия стонавших под иноземным игом и под пятой великодержавных правительств.

У ног его, смотря в лицо, и не сводя глаз с того, кто был страстным другом угнетенных национальностей, жившим мечтой об освобождении и раскрепощении народов Востока, в лицо того, чью волю, чей совет и приказ безропотно и смело, с беззаветной преданностью исполняли они, эти погибшие герои Закавказья, погибшие от вероломной проклятой руки всесветных разбойников и бандитов, палачей народов востока, всех этих лордов Керзонов, Лойд-Джорджев, Черчилей и прочих патентован-

ных лицемеров, мерзавцев и негодяев человечества.

Слава погибшим!

Смерть палачам!

С какой тоской, с какой любовью смотрит она в закрытые очи того, чей орлиный взгляд так еще недавно поднимал всех на кровавый, смертельный бой с всесветными врагами рабочего класса и изнеможденных крестьян.

— Прости, прощай!..—и низко поклонившись отошла она туда, в сомкнутые ряды бойцов, всегда готовых на все...

Вот он, шоффер Гиль, застенчиво и робко ставший здесь у изголовья того, чье раненое тело защитил своей грудью в тот ужасный момент, когда он, пораженный пулями, упал и был оставлен всеми, кроме его одного, верного и бессменного шоффера Владимира Ильича... Он тут с своими товарищами. И смущение и жалость меняют его лицо, заставляя бледнеть того, кто не дрогнул перед прямым лицом смерти.

А это кто?

Ночью вошел с идущими чередой на поклон и лицезрение того, кто дорог всем и каждому, вошел громадный, высокий, вошел и отшатнулся и стал в стороне, стал и смотрит, бледный и недвижимый и тихо-тихо склоняется на грудь его победная головушка. Жестокая мука и боль искривили его лицо и слезы наполнили его глаза, и он, большой и смелый, он, видимо, видавший виды, готов, вот тут сейчас почти расплакаться.

Смотрю—знакомый человек...

Идет сгибаясь, точно тяжелая ноша давит его...

Подходит...

— Узнаете?

— Да, узнаю,—сразу мелькнуло мне далекое прошлое...

— Я—Ушаков...

Да, Ушаков, это тот, один из трех, кто стрелял в Владимира Ильича еще в 1918 г. в Петрограде, когда он возвращался с митинга в казармах и когда его автомобиль был изрешетен револьверными пулями. Я был тогда во главе 75 комнаты Смольного, где лучшие испытанные рабочие заводов и фабрик творили революционное правосудие над всем белогвардейством тех времен, боролись с пьяными погромами, грабежами и убийствами, чинили суд и расправу во имя диктатуры пролетариата над всеми теми, кто покушался на молодую советскую власть.

В два, в три дня напали мы наверные следы тех, кто покушался на жизнь Владимира Ильича и арестовали всех их. Ускоренное следствие быстро разматывало сложный клубок и дело шло к полной рязвязке... Не однажды сообщал я Владимиру Ильичу о результатах следствия, безпощадно разоблачавшего врагов Революции.

— Да так ли все это? Да верно-ли? Смотрите, нельзя так... Нет, это надо доказать... Это может каждому показаться... Эти показания не достатоточно достоверны...

И так каждый раз. Самые большие препятствия в следствии по делу покушения на его жизнь, ставил нам никто иной, как он сам, не-

редко переходя как-бы в защитника арестованных врагов его и наших...

И вот, когда решительно все было доказано, когда цепь свидетельских показаний замкнулась, когда не было ни малейшего сомнения, что это они совершили то, что чуть-чуть не отняло у Пролетарской Революции ее вождя,—вдруг грянула под Псковом пушечная канонада, перешедших в наступление немцев, решивших двинуться на главную цитадель революции, на Красный Петроград.

Тревожные гудки заводов и фабрик подняли ночью всех рабочих, всех солдат, всех обывателей и город ощетинился, став под ружье почти поголовно...

— На фронт! Хотим на фронт! Просим, умоляем бросить нас на бронепоездах на немцев, в самых первых рядах!..—писали мне арестованные контр-революционные террористы, когда они прочли пламенное воззвание Владимира Ильича: «Социалистическое отечество в опасности».

— Владимир Ильич,—они—он сразу почувствовал кто «они»—просят бросить их на фронт, на немцев. Виновность их вполне доказана...

— Освободить, сейчас-же! Хотят на фронт —послать!..

— А дело?

— Дело кончено...

Так просто, так благородно, так поистине революционно и великодушно отнесся Владимир Ильич в минуту страшной опасности для нашей Революции к тем, кто только что поставил жизнь его на карту великой борьбы...

— Позвольте мне остаться здесь у гроба— глухо с надрывом сказал мне Ушаков.

— Останьтесь... —ответил я ему.

И он остался, стал в стороне и как изваяние, не двигаясь, смотрел долго-долго в успокоившееся лицо того, кто был пред дулом его револьвера и которого он понял, он полюбил, горячо и радостно после, когда узнал его...

И вот теперь его уж нет и нет...

XIV.

Сомкнутыми, тяжелыми рядами, словно на бой, пришли они, старые батальоны революционной армии, бившиеся с врагами диктатуры пролетариата на четырнадцати фронтах, пришли и окружили его, чье слово для них было священным, чьи боевые приказы выполняли они без малейшего колебания. Серые шинели, сосредоточенные лица, взгляд в упор в него и дума и тоска в глазах...

Пошли... И сразу твердым шагом, и сразу бодро, сразу гордо подняв головы... Они-ли не смотрели смерти в глаза? Они-ли не видели ужас поражений, сладость побед? От недавних боев,—к вождю и снова готовые на бой, мощно держа в своих стальных руках красный стяг— знамя Революции, они как бы поклялись тому, кто был всегда с ними, жить в свободе социалистического отечества или умереть в борьбе.

Вот их ряды один за одним, много-много, казалось, без конца. Войдут, постоят, нахмурятся, задумаются и дальше, пока не прошли все отряды, потребовавшие пойти к нему на последнее прощание.

Двинулась вся Россия. Поезда не могли вме-

стить желающих, Москва, за неимением мест, не могла принять приезжающих; пришлось дать экстренное телеграфное распоряжение по всем линиям железных дорог прекратить выдачу билетов на Москву.

И вот, наконец, приблизилось время—время расставания, время похорон.

XV.

Могила готова. Взорвана почва, вырыта большая комната в каменном ложе старых кремлевских стен. Воистину нечеловеческими усилиями сооружен деревянный мавзолей—суровый и простой—в эти трескучие морозы, столь сильные, как будто бы белокаменная Москва придвинулась к Белому морю.

Окруженые кострами, сменяясь через каждые полчаса, рабочие, почти изнемогая, но напрягая все силы, все-таки к сроку и без малейшего опаздания закончили свою ответственную и трудную работу.

Весь город убрался в траур. Народ на улицах, костры окружены толпами... Читают вслух газеты, рассказывают друг другу и все о нем...

Там внутри, в колонном зале Дома Союзов, всю ночь приходили к нему друзья.
Доступ народу прекращен. Все вычищено. Двери закрыты и только иногда они приотворяются, чтобы закрыть за собой тех ближайших, кто хочет проститься с ним наедине.

Рано утром стали собираться депутации и также рано утром отовсюду двинулись стройными рядами рабочие, служащие, обыватели, граждане. Неорганизованная множественная толпа всюду стояла и шла и на призывы рабочих

демонстрантов, может-быть, первый раз в жизни, выходили они из своего безформенного существования и присоединялись к мощным рядам рабочего класса и, почем знать, не творилось ли здесь полное перерожденне многих из тех, кто ранее не понимая, враждебно смотрел на советскую Россию, на весь советский строй жизни нашей страны.

Вокруг гроба столпились те, кто работал рука об руку с Владимиром Ильичем долгие годы боевой революционной жизни...

Лучший струнный оркестр Москвы проникновенно исполняет похоронный марш и рвет и хватает за сердце точно не хочет отпустить от нас живых его мертвого...

Звуки несутся, рвутся, потрясают и исчезают, сливая все в единое, мощное, целое, взмывая душу, мутя разум, кружа сознание и вознося мысли к долгим годам революционной борьбы революционного пролетариата.

Окончили...

Все смолкло...

Тишина... Ни звука...

И вдруг колыхнулись... Подняли... Понесли...

Вот и на улице...

Последний путь...

XVI.

Море народа... И все идут, идут и идут...

Высоко над головами колышется серебристый, весь в красном, гроб...

Звуки оркестров заполнили морозный воздух, головы обнажились, знамена склоняются долу,

флаги, штандарты перевитые флером, приспущены...

На высоком помосте, так что гроб виден всем, всей площади, покоится Владимир Ильич и перед ним проходят в жестокий, трескучий мороз последним маршем его верные друзья и товарищи-рабочие Москвы и ее окрестностей, рабочие и крестьяне, прибывшие отовсюду, рабочие и красноармейцы всех родов оружия.

Долго, беспрерывно шла небывалая в летописях человеческой истории демонстрация, продолжавшаяся до позднего вечера...

Ровно в четыре часа гроб подняли, чтобы внести в мавзолей... Грянул пушечный салют, грянули ружья всех красноармейцев. И этот салют единовременно раздался не только во всей нашей необ'ятной стране, но даже на всех наших кораблях и пароходах, бывших в ближнем и дальнем плавании.

В эти минуты остановились поезда на всей нашей сети железных дорог, где бы их ни застала эта торжественная минута. Все наши суда приспустили флаги и салютом и командой отдали последнюю честь, последнее прости не только вождю всей страны нашей, но и всего боевого пролетариата всего мира.

Все обнажили головы...

Жалобно и больно застонали гудки фабрик и заводов... Что-то вонзилось в серце и обомлела душа...

Вот его вносят... Вот внесли... и он скрылся там в глубине наскоро сделанного, лютыми морозами обвеянного, временного деревянного мавзолея...

Все кончено...

Тише, о жизни покончен вопрос.
Больше не надо ни песен, ни слез...

Замлело бессчетное, необозримое людское море.

Осиротели... Одни... Нет, нет всегда, навеки, нет Владимира Ильича... Все кончено...

И долго стоят коммунары здесь у новой могилы, стоят и не расходятся...

Крепкую думу думает Партия...

Крепкую думу думают рабочие...

Стоят коммунары, не дрогнут...

Торжествено и тихо расходятся они от великой могилы на новый труд, на борьбу для победы...

— Будьте готовы на бой, коммунары! — словно слышится завет Ильича...

— Всегда, всегда готовы!.. — вот властный и сильный ответ коммунаров.

— К борьбе и победе!..—звучат комсомольцы, новая смена старых бойцов.

— Будь готов!—тревожит сердца пионеров.

— Всегда готов!—страстно чеканит отряд пионеров, новая смена юных борцов.

— Готовы все, всегда и на веки...

— На веки!..

— На веки с ним и по его пути!..

Москва, Кремль.
21 января 1925 г.

Цена 20 коп.

